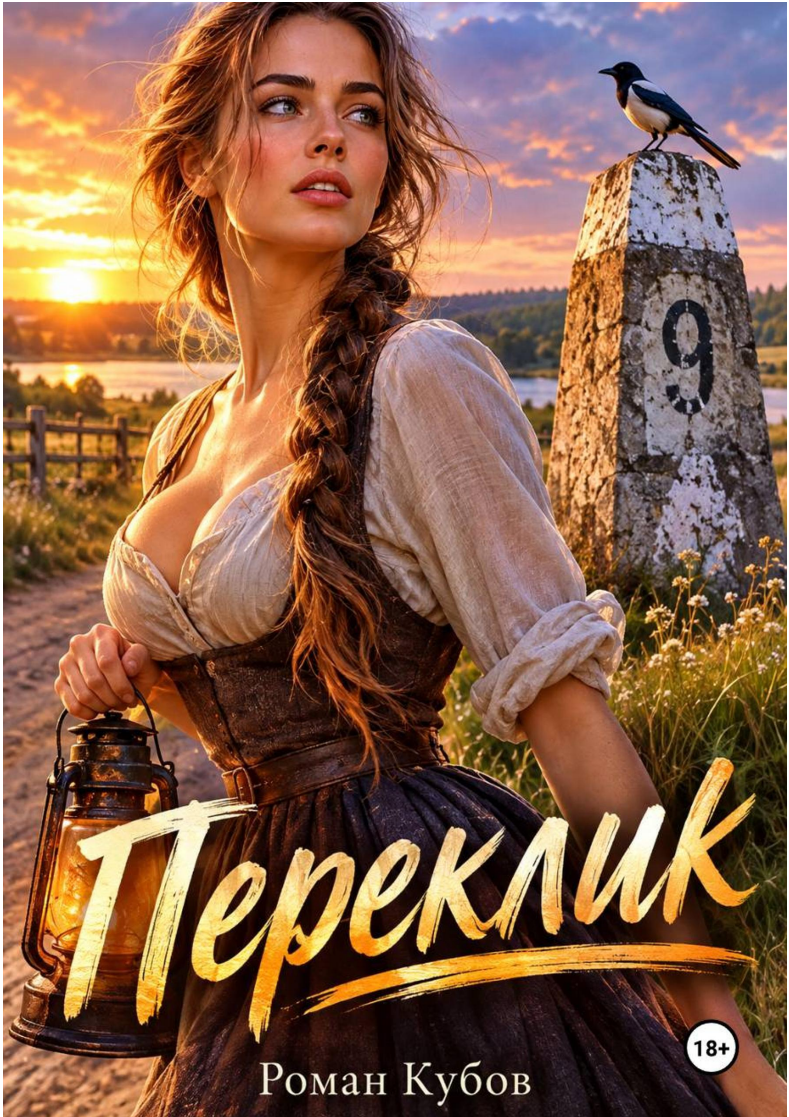

9
Переклик
18+
Роман Кубов

Роман Кубов
Переклик

https://litres.ru/74726048
SelfPub; 2026

Аннотация

Кромка держится на голосе: дорога твёрда, пока её называют вслух, а на дорогах стоят четыреста двенадцать маяков-камней. Ясна Корда четвёртый год одна ведёт северное направление, и шестой камень у неё сел этой осенью.

Когда она и путевой с юга Дарен Ольх случайно перекликаются на одном перекрёстке, они становятся спутанными: год и день слышно чужое дыхание, а вести разные дороги нельзя.

Казначейство тем же месяцем требует с тракта пять тысяч дохода — или дорогу закрывают, а спутанных распутывают принудительно: две тысячи гривен и сорок дней полной тишины в разных городах.

Романтическое фэнтези о дорогах, сметах и о том, что вдвоём держится то, что один не удержит.

Содержание

Глава 1. Переклик 4
Глава 2. Двойной голос 12
Глава 3. Спутанные 20
Глава 4. Сделка 28
Глава 5. Северный тракт 35
Глава 6. Дом у седьмого камня 43
Конец ознакомительного фрагмента. 44

Роман Кубов
Переклик

Глава 1. Переклик

Северный тракт начинается за станцией, у седьмого маяка, и в этом году он начинался плохо.

Я вышла в четыре утра, потому что переклик положено делать до света: голос в холодном воздухе идёт дальше и возвращается чище. Взяла фонарь, сумку с известью, мешок с паклей и палку, которой стучу по камню, проверяя, не сел ли он.

Тихон уже был во дворе.

— Не в четыре, — сказал он. — В пять пойдёшь.

— Почему?

— Потому что туман. В тумане голос сядет на первом же повороте, и ты будешь стоять и кричать в белое, как дура.

Он всегда так говорит: «как дура», хотя двадцать шесть лет зовёт меня Ясной и ни разу не сказал «дочка».

— Туман к шести упадёт, — сказал он. — Поешь.

Я села на крыльцо и съела кашу, которую он сварил, пока я спала. Сорока сидела на водостоке и смотрел на меня с тем выражением, с которым смотрят на людей, которые едят в шесть утра.

— Не смотри, — сказала я. — Тебе не дам.

— Ей не дам, — поправил Тихон. — Это она.

В шесть туман и правда упал, и я пошла.

Первые четыре маяка стоят вдоль реки, и с ними всё было просто: я называла номер и имя, и они отзывались гулом под подошвами. Гул — это не звук. Это когда идёшь по дороге и чувствуешь, как под тобой отвечает земля, будто где-то глубоко кто-то очень большой повернулся во сне.

— Третий маяк, — говорила я. — Северный тракт, третий. Держись.

И третий держался.

Так я прошла восемь.

На девятом я остановилась. Девятый молчал.

Камень стоял целый: буквы читались, известь осыпалась по краю, но под ним было глухо, как под мешком с песком. Я постучала палкой раз, другой, приложила ладонь.

Ничего.

— Ну и ладно, — сказала я вслух, потому что говорить вслух на дороге — это работа, а не привычка. — Значит, будем поднимать.

Итого шесть молчащих. В прошлом году было два.

Домой я вернулась к четырём, села на крыльцо и стала считать, потому что считать — это то, что я умею лучше всего.

Подъём маяка: известь, песок, две недели. Триста гривен и две недели на один. Шесть маяков — это тысяча восемьсот

гривен и три месяца, если работать одной, и восемь недель, если работать вдвоём, и у меня не было ни тысячи восьмисот, ни второго человека.

Долг станции был тысяча четыреста. Договор на тракт — девять тысяч за сезон, платят по сдаче, аванса нет. До сдачи — четыре недели.

Я сидела на крыльце с тетрадью и слышала, как Тихон в конюшне разговаривает с лошадью: он с ними говорит всегда, и с ними он говорит больше, чем со мной.

— Что, плохо? — спросил он, не выходя.

— Шесть.

Он вышел, вытирая руки о тряпку.

— В прошлом году два было.

— Два.

— А до того?

— Одно.

— Ясна, — сказал он.

— М.

— Ты мне скажи как есть.

— Как есть — я не подниму шесть маяков за четыре недели.

— А если в стол?

— В стол я пойду завтра, — сказала я. — Но стол мне не даст ни человека, ни денег. Стол даёт дорогу и забирает доход.

Тихон долго молчал.

— Мать твоя поднимала четыре за месяц, — сказал он. — Одна.

— Знаю.

— И ты поднимешь.

— Пап.

— Что.

— Мать уехала в Гаусборг, — сказала я. — Я не уеду. Я тут живу. И я не она.

Он встал и ушёл в конюшню, и я знала, что он обиделся, и знала, что он никогда об этом не скажет.

Вечером пришла Лея.

— Ясна, — сказала она с порога. — Ты знаешь?

— Что я знаю?

— Что тракт хотят закрыть.

Я поставила чайник.

— Кто.

— Казначейство. Крин написал бумагу: Северный тракт убыточен, доход меньше, чем расход на маяки, и если до первого снега не будет пяти тысяч, тракт переводят в непутные.

— В непутные, — повторила я.

— В непутные, — сказала Лея. — Это значит закрыть, Ясна. Маяки осядут, дорога станет тропой, а через два года — травой.

Я налила ей чаю.

— Откуда ты знаешь?

— Потому что бумага лежит у меня в сумке, — сказала

Лея. — Я её везу в Верхний круг завтра утром. И я её тебе не покажу, потому что мне за неё отвечать головой, но я тебе скажу, что в ней написано.

Она сказала.

В бумаге было три числа: доход тракта за год — три тысячи двести; расход на маяки — четыре тысячи сто; «просим признать тракт непутным и передать землю под Соляной съезд».

— Соляной съезд, — сказала я.

— Соляной съезд.

Мы помолчали.

— Это он? — спросила я.

— Что он?

— Он написал?

— Нет, — сказала Лея. — Он вообще не в городе, он на юге, и, если верить тому, что мне рассказывали, он две недели поднимает свои маяки и ни о чём другом не думает. Бумагу написал Крин. Просто Крин считает, и у него сходится.

Я сидела и смотрела в стол.

— Лея.

— М.

— А если я его пересчитаю?

— Кого?

— Крина.

Лея засмеялась, а потом перестала.

— Ты серьёзно?

— Я четыре года считаю дорогу, — сказала я. — Я знаю её доход по месяцам, я знаю, сколько телег прошло в августе, я знаю, что половина возов идёт мимо пошлины, потому что у моста нет будки. Если я ему это покажу, у него не сойдётся.

— А будка?

— Что будка?

— Будки нет, — сказала Лея. — И если ты поставишь будку, ты возьмёшь с возов пошлину, и у тебя будет доход.

— А кто в будке будет сидеть?

— Я, — сказала Лея. — Я всё равно езжу туда каждый день.

Я смотрела на неё.

— Ты понимаешь, что тебе за это не заплатят?

— Понимаю, — сказала Лея. — Но мне двадцать четыре, и я пока могу себе это позволить.

Ночью я не спала.

Я вышла на крыльцо, села на ступеньку и смотрела на седьмой маяк, который стоял в темноте у поворота, и на его верхушке белела известь.

И шестеро из них сейчас молчат.

— Я вас подниму, — сказала я в темноту. — Слышите? Всех шестерых.

Седьмой маяк не ответил, потому что седьмой был цел, но Счёт на крыше уронил гвоздь, и в тишине это прозвучало так, будто кто-то согласился.

Утром я пошла в Створ, в Путевой стол, и там узнала две

вещи.

Первая: Северный тракт действительно внесли в список на закрытие, и слушание будет в конце месяца.

Вторая: на перекрёстке у седьмого маяка этой весной поставили новую отметку — перекрёсток признали «двойным», и по уставу его должен держать не один голос, а два.

— Как два? — спросила я.

— Так, — сказала Уна Гарм. — Двойной переклик, девочка. Ты что, в первый год замужем?

— Я четвертый год веду тракт одна, — сказала я. — И перекрёсток держала одна.

— Держала, — согласилась Уна. — А в этом году он сел. Ты мне сказала, что шесть маяков молчат. Из них два — на перекрёстке. И они не от того молчат, что сырость. Они молчат потому, что не слышат второго голоса.

— И где мне взять второго?

— В Кромке сорок два путевых, — сказала Уна Гарм. — Из них двойной голос держат трое: я, мой сын и Дарен Ольх с юга. Я старая, у меня голос садится на третьем десятке маяков. Ливен тебе не поможет, потому что он хочет твой тракт и не хочет тебе помогать.

— А Дарен?

Уна посмотрела на меня и ничего не ответила.

— Уна.

— Дарен Ольх работает один, — сказала она наконец. — Одиннадцать лет. Он не берёт ни дорог в паре, ни учеников,

ни денег вперёд. И он тебе откажет.

— Почему?

— Потому что он тебе откажет, — сказала Уна Гарм. — Иди. У тебя четыре недели и шесть маяков. И на перекрёсток одна не ходи — услышат, что он молчит, и тогда никто ничего не подпишет.

Я вышла на улицу.

В Створе шёл снег — ранний, мелкий, тот, который тает, не долетев до земли.

И в этом снегу, у самых дверей Путевого стола, навстречу мне шёл человек с дорожной сумкой через плечо, в куртке, у которой был поднят воротник, и с палкой, какие берут в горы.

Он остановился.

— Корда? — сказал он.

— Да.

— Дарен Ольх. — Он протянул руку. — Мне сказали, что вы ищете второго голоса.

Я смотрела на него.

— Мне сказали, что вы откажете.

— Мне тоже так говорили, — сказал Дарен Ольх. — Но я две недели ходил по своим маякам и слушал, как они садятся. И я знаю, что весной будет то же самое у меня. — Он помолчал. — Так что давайте поговорим, пока снег не лёг.

Глава 2. Двойной голос

Мы сидели в чайной на Нижнем посаде, где тепло и пахнет хлебом, и разговаривали так, как разговаривают люди, которым надо решить дело и которые друг другу не нужны.

Дарен Ольх положил на стол тетрадь — такую же, как моя, только толще.

— Я прошёл свои сорок два маяка, — сказал он. — Сели семь. Четыре на перекрёстке у Соляных ворот.

— У меня шесть из сорока одного.

— Знаю. Мне Уна сказала.

Он пил чай маленькими глотками и смотрел в тетрадь.

— Вы понимаете, что это значит? — спросил он.

— Что дороги садятся.

— Что они садятся одновременно, — сказал Дарен. — В один год, на двух трактах, на перекрёстках. Такого не было двенадцать лет. Я спрашивал у старших: последний раз перекрёстки садились сразу на двух дорогах, когда старый Сивер ушёл с дороги, и его переклик некому было подхватить.

— И что тогда сделали?

— Тогда путевых было больше. Сейчас сорок два на четыреста двенадцать маяков.

Я считала в уме, пока он говорил.

— Восемьдесят четыре маяка на человека, — сказала я. — Это невозможно. Норма — сорок.

— Нормы нет, — сказал Дарен. — Норма была при Сивере и ушла вместе с ним, потому что он один держал шесть дорог и никого не учил.

Он сказал «ушла» про норму, а не про человека, но я всё равно поморщилась, и он это заметил.

— Простите, — сказал он. — Я про то, что правила держатся на людях, а люди уходят с дороги.

— Я поняла.

Он поднял глаза.

— Корда, я вам скажу прямо, потому что вокруг этого дела будет много слов. Я приехал не помогать вам. Я приехал, потому что мне нужен второй голос на Соляных воротах, а брать в пару можно только того, у кого свой тракт и своя репутация.

— То есть я вам нужна.

— Вы мне нужны, — сказал Дарен Ольх. — А я вам. Это, по-моему, лучшая основа для дела, чем «давайте дружить».

Я засмеялась. Он не засмеялся, но посмотрел с любопытством.

— Что? — спросил он.

— Ничего, — сказала я. — Просто мне впервые за четыре года говорят прямо.

Потом я достала свои числа и рассказала ему про будку, про пошлину, про доход, который не сходится, и про казначея, который считает по бумаге, а не по дороге.

Он слушал и в конце сказал:

— Будка — хорошо. Но пяти тысяч она вам не даст.

— Даст три.

— Три с половиной, — сказал Дарен. — Если пошлина пойдёт с возов, а не с телег, и если поставить её у поворота, а не у моста.

Я посмотрела на него.

— У поворота?

— У поворота, — сказал он. — Потому что у моста возы объезжают по старой гати, и вы об этом знаете не хуже меня, иначе не спрашивали бы, где ставить будку.

— Откуда вы знаете про гать?

— Я по ней ездил в позапрошлом году, — сказал Дарен. — В объезд, потому что у вас тогда мост был перекопан.

Я села прямо.

— Вы были на моём тракте?

— Был.

— Зачем?

— Смотрел, — сказал он. — Я каждый год смотрю соседние дороги. Не для того, чтобы забрать. Для того, чтобы понимать, куда пойдёт вода, если у меня сядет перекрёсток.

Мне это не понравилось, и я это сказала:

— То есть вы четыре года смотрели на мой тракт и ничего не говорили.

— А что я должен был говорить? — спросил Дарен. — «Корда, у вас двадцать седьмой маяк стоит на песке»? Вы бы мне ответили, что я лезу в чужое.

Я помолчала.

— Я бы так и ответила, — сказала я.

— Вот, — сказал он. — Поэтому я не говорил.

Чайная закрывалась, и хозяйка уже гремела стульями, и мы вышли на улицу.

— Сколько времени вам нужно? — спросил он.

— На что?

— Чтобы решить.

— Я решила, — сказала я. — Мне нужен второй голос, у меня четыре недели, и я не могу поднять шесть маяков одна. Я согласна.

Дарен Ольх остановился.

— Так быстро?

— А что тянуть?

— Я думал, вы будете торговаться, — сказал он. — Все торгуются.

— Я торгуюсь, — сказала я. — Полторы тысячи вам за сезон, это по уставу половина тому, кто второй голос. Но у меня их нет, пока я не сдам тракт.

— Значит, я работаю вперёд.

— Значит, вы работаете вперёд.

Он смотрел на меня.

— Корда, — сказал он. — Вы мне не доверяете.

— Не доверяю.

— И всё равно берёте.

— Беру, — сказала я. — Потому что у меня нет выбора, а

у вас, если верить тому, как вы замёрзли в этом пальто, тоже.

Он вдруг улыбнулся — коротко, углом рта, и от этого лицо у него стало моложе лет на пять.

— У меня есть выбор, — сказал он. — Я мог поехать в Гаусборг и взять дорогу у тамошних. Там платят вдвое.

— Почему не поехали?

— Потому что в Гаусборге мне не дадут молчать, — сказал Дарен Ольх. — А я люблю молчать.

На том и ударили.

Домой я вернулась к ночи, и Тихон ждал меня на крыльце с фонарём.

— Ну?

— Нашла.

— Кого?

— Дарена Ольха. С юга.

Тихон долго молчал.

— Это тот, который один? — спросил он наконец.

— Тот.

— Про него говорят, что он тяжёлый.

— Он тяжёлый, — согласилась я. — И он правду говорит в лицо, а я от этого отвыкла.

— Это хорошо или плохо?

— Это непривычно, — сказала я. — А насчёт хорошо или плохо я пока не знаю.

Он приедет через три дня, и эти три дня я поднимала девятый маяк, потому что работу нельзя останавливать из-за

того, что ждёшь человека.

Девятый стоял на сыром основании, и с восточной стороны промыло — вода шла под камень и вымывала песок. Я разобрала основание на полтора локтя, переложила на извести, пересыпала сухим песком, подбила клин.

Работала три дня и одну ночь, в темноте с фонарём, потому что днём шёл дождь со снегом, и известь не схватывалась.

На третью ночь я села у маяка и заплакала, потому что руки не держали и потому что известь кончилась, а до утра надо было ещё положить два ряда.

Плакала я минут пять, ровно до того момента, когда поняла, что плачу от злости, а не от усталости: я злилась на мать, которая поднимала четыре маяка за месяц и уехала, на Крина с его тремя числами, на Уну, которая говорит «девочка», и на себя, потому что четыре года тащила дорогу и не попросила помощи ни у кого ни разу.

— Хватит, — сказала я себе.

Луна была за облаками, дорога — чёрная, и на ней не было никого.

И я стала называть маяки.

Я называла их все, от девятого до сорок первого, в темноте, вслух, по порядку, и они отвечали. Не все — восемь не отвечали, — но остальные гудели, и это было так, как будто я иду в толпе.

Когда я дошла до сорок первого, у меня уже не тряслись руки.

Утром приехал Дарен.

Он приехал не верхом, а на телеге почты, с Леей на облучке, и с ним был сундук и мешок, и Лея, слезая, сказала:

— Я его довезла, теперь это твоя забота.

Дарен спрыгнул и посмотрел на станцию: на дом с крыльцом, на конюшню, на седьмой маяк у поворота.

— Хорошо тут, — сказал он.

— Это вы сейчас так сказали, потому что не видели крышу.

— Крышу видел, — сказал он. — Я тебе её переберу в ноябре, если доживём.

— Если доживём — это как?

— Половину маяков, — сказал Дарен, — поднимают в октябре, в грязь, и половина тех, кто поднимает, бросают это дело к весне, потому что руки не выдерживают и потому что платят по сдаче. Я не о людях. Я о смете.

— Смета — это моё, — сказала я.

— Вот и хорошо, — сказал он. — А маяки — моё.

Мы стояли во дворе и смотрели друг на друга, и из конюшни вышел Тихон и сказал:

— Ну, здорово, что ли.

Дарен обернулся и поклонился — не по-городскому, а подорожному, коротко.

— Здравствуйте, — сказал он. — Я вам не помешаю. Я в конюшне.

Тихон посмотрел на него, потом на меня, и я по его лицу

поняла, что он сейчас скажет что-нибудь не то.

Он сказал:

— Живи.

И это, если вы не знаете Тихона, было очень много.

Глава 3. Спутанные

Спутались мы на четвёртый день, и не по своей воле.

Двадцать второй маяк стоял на самом перекрёстке, где от Северного тракта отходит старая гать на Соляные ворота. Он молчал с августа: камень цел, буквы целы, а под ним глухо.

— Двойной, — сказал Дарен, постучав по нему палкой. — Здесь нужны два голоса.

— Я знаю.

— Тогда слушайте, — сказал он. — Это не «крикнуть вместе». Если мы крикнем вместе, он не ответит. Надо, чтобы голоса шли вразбивку: я называю имя, вы сразу за мной номер, потом я — ответную половину. Как вязать сеть, если вы когда-нибудь видели, как вяжут сеть.

— Не видела.

— Тогда я скажу так, — сказал Дарен. — Мы с вами должны дышать в один шаг. Сначала это будет некрасиво. Потом будет ровно.

Мы встали по обе стороны камня, и он сказал:

— Начали.

Он назвал имя дороги. Я назвала номер. Он сказал «держи», я сказала «держи».

И ничего не произошло.

— Ещё раз, — сказал он.

Мы повторили. Опять ничего.

— Почему? — спросила я.

— Потому что вы говорите на выдохе, а я на вдохе, — сказал Дарен. — Мы гасим друг друга.

Мы пробовали ещё четыре раза. На пятый я разозлилась и сказала:

— Слушайте, я так не умею. Я четвертый год делаю это одна, у меня на всю работу один ритм, и он мой.

— Я знаю, — сказал он. — И я не умею иначе. В этом и дело.

Мы стояли на перекрёстке, и шёл снег, и дорога под нами была мягкая, как тесто.

— Давайте иначе, — сказала я. — Не будем подстраиваться. Вы говорите своё, я говорю своё, и каждый держит свой ритм.

— Тогда они разойдутся.

— Пусть попробуют.

Дарен посмотрел на меня, как смотрят на человека, который предлагает глупость, но при этом, может быть, прав.

— Хорошо, — сказал он. — По моему счёту три.

Он начал считать, и я не стала подстраиваться: я говорила свои слова так, как говорила их четыре года, одна, в своём темпе, и слышала, как рядом идёт его голос, и наши слова шли не вместе, а внахлёст, как две нитки в одной пряди.

И на седьмом слове камень ответил.

Не гулом. Он ответил так, что у меня подкосились ноги: земля под перекрёстком повернулась, и в меня ударило —

не светом, не холодом, а чужим.

Сердце. Чужое сердце, которое билось не в моём ритме и было в двух шагах.

Я упала на колени и услышала, как сзади падает Дарен.

— Не двигайтесь, — сказал он хрипло. — Лежите.

— Что это?

— Спутанность, — сказал он. — Мы спутались.

Мы лежали на снегу у двадцать второго маяка, и я чувствовала, как у него болит левое плечо, и как под левой лопаткой у него саднит от старой болячки, и как у него пересохло во рту.

И он чувствовал то же самое: у меня в тот день была сбита коленка и ныла спина, и он потом сказал, что в первый момент подумал, будто его ударили по спине.

— Это пройдёт? — спросила я.

— Это держится год и день, — сказал Дарен.

— Год?

— Год и день. Потом само.

Я села в снег.

— И что теперь?

— Теперь мы идём домой, — сказал он, — и не перекликаемся до вечера, потому что второй раз подряд я этого не выдержу.

До станции было две версты, и мы шли их молча, и это было самое странное, что случалось со мной в жизни.

Я слышала его. Не мысли — тело. Когда он уставал, у ме-

ня тяжелели ноги, будто я шла по песку. Когда он начинал мёрзнуть, у меня стыли пальцы, хотя мои были в рукавицах. На полдороге он споткнулся, и я почувствовала толчок в колене раньше, чем он ойкнул.

— Вы это слышите? — спросил он.

— Чувствую.

— Я тоже.

— На каком расстоянии это работает?

— До версты, — сказал Дарен. — Дальше слабеет. Через две версты — почти ничего.

— То есть если вы уедете на юг...

— То я вас не буду чувствовать, — сказал он. — И вы меня.

Мы дошли до станции, и в сенях он сказал:

— Корда.

— М.

— Я вам не сказал одну вещь.

— Какую?

— Спутываться на рабочей дороге запрещено уставом, — сказал Дарен. — Не потому, что это стыдно. Потому что спутанные не могут вести две разные дороги: голоса начинают спорить, и оба полотна плывут.

Я стояла в сенях, в сапогах, с которых текла вода.

— То есть мы теперь не можем работать порознь.

— Нет, — сказал он. — Мы как раз можем. Пока мы работаем вместе, всё в порядке. Порознь — не можем.

— И что нам делать?

— Идти к Уне, — сказал Дарен. — Или молчать и работать.

— Молчать?

— Молчать, — сказал он. — Никто не знает, кроме нас двоих. Если мы закончим сезон и сдадим тракт, никто не спросит, как мы это сделали.

— А если узнают?

— Тогда нас распутают, — сказал он. — Это две тысячи гривен, которых у нас нет, и сорок дней врозь, за которые два перекрёстка сядут окончательно.

Ночью я лежала в своей комнате и слушала.

Он спал в конюшне, на сене, рядом с лошадью, и я чувствовала, как он дышит. Это было не наваждение: дыхание было медленное, тяжёлое, с той небольшой паузой, которая бывает у людей, которые засыпают не сразу.

Я лежала и злилась.

Я двадцать шесть лет жила одна и в этом умела: одна ела, одна считала, одна ходила по дороге. У меня не было ни одной вещи, которая была бы связана с чужим человеком, и мне это нравилось.

А теперь я лежу и чувствую, как в конюшне кто-то спит.

— Это не по-настоящему, — сказала я в потолок. — Это связь. Она пройдёт.

Он за стеной перевернулся на другой бок, и я почувствовала, как сено шуршит под его плечом, хотя шуршания не

было слышно.

Утром я встала раньше всех, потому что не спала, и вышла на крыльцо, и Дарен уже был там.

— Не спали, — сказал он.

— Не спала.

— Я тоже.

Он сидел на ступеньке, длинный, в двух рубахах, и пил воду из ковша.

— Я вам скажу, что я об этом думаю, — сказал он. — И вы мне потом скажете, что вы думаете. Только давайте по-честному, без вежливости.

— Давайте.

— Я одиннадцать лет работаю один, — сказал Дарен. — Не потому, что я гордый. Потому что в паре один всегда тащит, а другой делает вид, что тащит. Я видел четыре пары и все четыре распались. И я поклялся не связываться.

— И связались.

— И связался, — сказал он. — Случайно. И теперь я вам скажу самое неприятное: я не жалею.

Я посмотрела на него.

— Почему?

— Потому что я вчера услышал, как отвечает двадцать второй маяк, — сказал Дарен Ольх. — Он молчал с августа. Я поднимал такие в одиночку, и они отвечали через полгода, а этот ответил сразу. И я не знаю, почему — потому что нас двое или потому что вы делаете что-то, чего я не умею.

— А я знаю, — сказала я.

— Что?

— Потому что я не подстраивалась, — сказала я. — Вы бы взяли слабого второго и подтянули к своему ритму. А я не подтянулась. И камень услышал два разных голоса, а не один, повторённый дважды.

Дарен долго молчал.

— Это, — сказал он наконец, — самая неприятная и самая правильная вещь, которую я слышал за одиннадцать лет.

— Почему неприятная?

— Потому что я одиннадцать лет работал неправильно, — сказал он. — И теперь мне надо это пересчитать.

Я села рядом с ним на ступеньку, и мы сидели и смотрели на дорогу.

— Дарен.

— М.

— Мы договоримся, — сказала я. — Сейчас, пока не началось. Правила.

— Давайте.

— Первое: работа прежде всего. Мы сдаём тракт, что бы ни было.

— Согласен.

— Второе: я не спрашиваю про вашу жизнь, вы не спрашиваете про мою. Если захотим — расскажем сами.

Он кивнул.

— Третье: — я помолчала. — Спутанность — это не чув-

ство. Это связь. Мы не будем делать вид, что это одно и то же, ни друг для друга, ни для людей.

Дарен повернул голову.

— А если это станет не одно и то же? — спросил он.

— Тогда мы это скажем вслух, — ответила я. — По-своему, а не по уставу.

— Хорошо, — сказал он и подал руку. — По рукам, Корда.

— По рукам, Ольх.

Мы ударили по рукам на крыльце. Из-за угла выехала Лея на своей телеге, увидела нас и сказала:

— О, а я смотрю, вы уже помирились.

— Мы не ссорились, — сказала я.

— Тогда я вам завидую, — сказала Лея. — Потому что в Створе уже говорят, что к тебе переехал путевой с юга, и половина посада считает, что это к свадьбе, а вторая половина — что к беде.

Дарен посмотрел на меня.

— К свадьбе, — повторил он.

— Это Кромка, — сказала я. — Здесь всё, что не беда, считается свадьбой.

Глава 4. Сделка

Уна Гарм сказала нам сесть и не сказала больше ничего, пока не закрыла дверь.

Потом она села напротив, положила руки на стол и спросила:

— Когда?

— В четверг, — сказал Дарен. — Двадцать второй маяк. Мы не знали, что это перекрёсток.

— Знали, — сказала Уна, глядя на меня. — Ты знала. Я тебе сказала в первый день.

— Знала, — согласилась я. — И всё равно спуталась.

Уна откинулась на спинку.

Ей пятьдесят восемь, у неё седые волосы, забранные в узел, и руки, которые никогда не держали ни извести, ни лома, но которые держат четыреста двенадцать маяков и сорок два человека, и она не любит ни жалеть, ни наказывать.

— Вы понимаете, что я должна вас распутать? — спросила она.

— Понимаем.

— И что это две тысячи гривен и сорок дней врозь?

— Понимаем.

Уна встала и подошла к окну.

— А теперь слушайте, — сказала она. — Я вам скажу то, чего вы не знаете, и после этого вы решите сами, а я сделаю

вид, что этого разговора не было.

Она обернулась.

— Северный тракт сел не из-за сырости, — сказала Уна Гарм. — Он сел потому, что перекрёсток два года держали в один голос. Один голос держит его полтора года, потом камень начинает сдавать, и это не чинится известью. Я знала это в прошлом году. Я написала в казначейство, что тракту нужен второй путевой, и Крин ответил мне бумагой, что «второй путевой не предусмотрен сметой».

— И что?

— И то, что я промолчала, — сказала Уна. — Я не сказала тебе, что твой перекрёсток надо держать вдвоём, потому что не могла тебе дать второго человека. И я не сказала Крину, что если он закроет тракт, то у меня сядут и Соляные ворота, и Лесная, потому что дороги стоят на перекрёстках, а перекрёстки стоят друг на друге.

Я сидела и слушала и чувствовала, как у меня холодеют пальцы — а пальцы у меня холодели только теперь, когда рядом мёрз Дарен.

Он тоже это заметил и, не глядя на меня, положил руки на стол, будто показывал: вот, я тут, я не мёрзну.

— Уна, — сказал он. — Вы хотите, чтобы мы работали спутанными и молчали.

— Я хочу, чтобы тракт стоял, — сказала Уна. — Молчать или нет — это будет ваше решение, и я вам приказывать не стану, потому что устав я всё равно нарушаю, согласившись.

Она села обратно.

— Я вам предлагаю так, — сказала она. — Вы работаете вдвоём до сдачи тракта. В Путевом столе я оформляю это как «второго голоса по северо-западному перекрёстку» — это законно, такие записи есть, их не отменяли. Про спутанность в записи не будет ни слова.

— А потом?

— Потом — как решите, — сказала Уна Гарм. — Если вы придёте ко мне первого мая и скажете «распутайте», я распутаю и денег не возьму, потому что это будет по моей вине. А если вы скажете «мы работаем дальше», я вас внесу в книгу как двойную пару и буду отбиваться от Крина вместе с вами.

Дарен смотрел на неё.

— А если нас кто-нибудь выдаст?

— Тогда будет хуже, — сказала Уна. — Тогда будет стол, объяснение и, скорее всего, отстранение от дорог на год. Но тракт к тому времени будет стоять, и это, по-моему, важнее.

Мы вышли из Путевого стола, и на улице шёл снег, и у меня было такое чувство, будто я вышла из тёплой воды на мороз.

— Она нас использует, — сказала я.

— Использует, — согласился Дарен. — И она нам за это платит дорогой, которой у нас не было бы.

— Вас это не смущает?

— Меня смущает другое, — сказал он. — Она сказала «я

промолчала». Значит, она знала про перекрёсток два года и молчала два года, и всё это время вы ходили там одна.

Я остановилась посреди улицы.

— Да, — сказала я. — Знала.

— И вы на неё не злитесь?

— Злюсь, — сказала я. — Но у меня долг тысяча четыреста, шесть молчащих маяков и четыре недели. Я не могу себе позволить злиться до сдачи.

Дарен посмотрел на меня и вдруг сказал:

— Корда, вы страшный человек.

— Почему?

— Потому что вы считаете даже обиду, — сказал он. — Я так не умею. Я одиннадцать лет умею только работать и молчать.

— И как, помогает?

— Нет, — сказал он. — Не помогает.

Мы вернулись на станцию к вечеру, и за ужином Тихон спросил:

— Ну, что в столе?

— Дали второго голоса, — сказала я. — По перекрёстку. Законно.

— Ага, — сказал Тихон и посмотрел на нас обоих.

Он ничего не сказал — Тихон никогда ничего не говорит, — но после ужина, когда Дарен пошёл в конюшню, он задержал меня на крыльце.

— Ясна.

— М.

— Ты мне скажи одну вещь, — сказал он. — Только честно.

— Скажу.

— Ты с ним спишь?

Я стояла и смотрела на отца.

— Нет, — сказала я.

— А почему у тебя лицо, как будто ты врёшь?

— Потому что я не вру, — сказала я. — И потому что это первый раз в жизни, когда ты меня об этом спросил, и я не знаю, что с этим делать.

Тихон помолчал.

— Я тебе скажу, — проговорил он. — Я двадцать шесть лет молчал про всё, потому что твоя мать всё решала сама, а мне оставалось держать станцию. И я вижу, что ты такая же. Только у тебя дорога, а у неё была дорога.

— И что?

— И то, что если он тебе нравится, — сказал Тихон, — ты не считай это по смете. Смета — это про маяки.

Он ушёл в дом, а я осталась стоять на крыльце, и в конюшне Дарен чем-то стукнул, и я почувствовала этот стук в ладони.

Следующие три дня мы работали.

Двадцать второй маяк мы подняли за два дня, и он ответил на третий, и ответил так, что у меня заложило уши.

Работа выглядела так: Дарен вынимал старую известь, я

подносила песок; он держал камень, я подбивала клин; потом мы вставали по обе стороны и перекликались, и всякий раз, когда оба голоса шли вразбивку, камень отзывался.

Порядок был такой: я называю имя дороги, он называет номер, я говорю «держи», он говорит «держится».

Мы пробовали менять порядок, и получалось хуже.

— Почему? — спросил он.

— Потому что вы называете номер, — сказала я. — Номер — это моё. Я четыре года считала эти номера и знаю их наизусть. А имя — ваше, потому что вы его выговариваете правильно.

— Я его выговариваю как все.

— Вы выговариваете его на южный лад, — сказала я. — С открытым «о». Камень это слышит и не спорит.

Дарен посмотрел на меня довольно долго.

— Откуда вы знаете, как я выговариваю?

— Я слушала вас три дня.

Он отвернулся и стал складывать инструмент, и я почувствовала, как у него на секунду стало тепло в груди, будто он что-то вспомнил.

— Дарен.

— М.

— Я не хотела вас смущать.

— Вы меня не смутили, — сказал он. — Вы меня, Корда, в первый раз за одиннадцать лет похвалили за голос, а не за спину. Мне надо это переварить.

Вечером третьего дня в дверь постучали, и на пороге стояла девочка лет десяти в огромной куртке и с сумкой, из которой торчал угол карты.

— Здравствуйте, — сказала она. — Я Дина. Я к дяде.

Дарен вышел из конюшни и сказал:

— Я же тебе писал, чтобы ты ждала в Створе.

— Я ждала два дня, — сказала Дина. — Потом пошла.

— Ты шла одна двадцать вёрст.

— Я шла по дороге, — сказала девочка с достоинством. — По какой дороге? По вашей. Она тёплая, по ней идти легче, чем по обычной, это все знают.

Дарен стоял и смотрел на племянницу, и я почувствовала через связь, как у него внутри всё сжалось и разжалось.

— Тихон, — сказала я. — У нас гостья.

— Вижу, — сказал Тихон из дома. — Пусть заходит. Каша есть.

Глава 5. Северный тракт

Дина осталась, и это решилось в один вечер, без споров.

Дарен сказал, что отправит её обратно в Створ с Леей, Дина сказала, что тогда она уйдёт ночью, Тихон сказал: «Пусть живёт», — и на этом всё кончилось, потому что против «пусть живёт» в этом доме не спорили.

— Она будет ходить в школу при Путевом столе, — сказал Дарен мне утром, будто оправдываясь. — Там учат считать и чертить.

— Пусть ходит.

— Я вам за неё заплачу.

— Дарен.

— Я заплачу, — сказал он. — Она ест, она спит и она займёт угол.

— Угол в конюшне? — спросила я. — В сене?

Он замолчал.

— В доме есть вторая комната, — сказала я. — Там холодно, но там есть печь. Я её затоплю.

Он смотрел на меня.

— Корда.

— Что.

— Я вам не сказал, кто её отец.

— Не говорите, — сказала я. — Третий пункт. Не спрашивать и не рассказывать.

Он помолчал.

— Это касается меня, — сказал Дарен. — Но это касается и её, а она теперь живёт в вашем доме. Так что вы должны знать хотя бы то, что знает посад.

— В посаде говорят, что вы её дядя и что вы её взяли после того, как её отец уехал на восточные дороги и не вернулся.

— Так и есть.

— И всё?

— И всё, — сказал Дарен. — Он жив. Он уехал. Я не знаю, где он, и не хочу знать. Если она спросит меня при вас — я скажу то же самое.

Так у нас стало трое, потом четверо, потому что Счёт тоже считался.

Сентябрь ушёл на маяки.

Мы поднимали их по два в неделю, и это было медленнее, чем я рассчитывала, потому что двойной переклик требует остановок: нельзя назвать камень и сразу идти дальше, надо постоять, пока он ответит.

Зато отвечали все.

К двадцать пятому сентября мы подняли девять, двенадцатый, четырнадцатый, двадцать второй и тридцать восьмой, и оставалось два — тридцать девятый и сорок первый, — и на них нужны были деньги: триста гривен, которых не было.

Деньги я добывала по-своему.

Будку у поворота поставили в три доски и старый ящик; Лея сидела в ней с восьми до шести, в дождь и в снег, и брала с воза два гроша, а с телеги один. За первые две недели набралось четыреста двенадцать гривен — больше, чем я думала.

— Откуда столько? — спросила я.

— Потому что половина шла мимо, — сказала Лея. — Я поставила будку не у моста, как ты хотела, а у поворота. У моста они объезжают гатью, а у поворота объезжать нечем: там забор и река.

— Ты умная.

— Я гонщица почты, — сказала Лея. — Я знаю все объезды в этой части Кромки, потому что я по ним езжу.

Дарен в тот вечер сказал:

— Если бы она была путевой, я бы её взял в пару.

— Она не путевая, — сказала я. — У неё нет голоса.

— У неё есть голова, — сказал он. — Голос — это половина, голова — вторая.

К концу сентября мы сдали в Путевой стол отчёт: девять маяков поднято, два осталось, доход с пошлины четыреста двенадцать, расход триста восемьдесят.

Уна Гарм посмотрела на лист и сказала:

— Это впервые за три года, когда у тракта расход и доход сошлись.

— Это ещё не пять тысяч, — сказала я.

— Это не пять тысяч, — согласилась Уна. — Но это уже

не убыток. Крин смотрит на убыток.

Первого октября ударил первый настоящий мороз, и всю ночь я не спала, потому что думала о сорок первом маяке, который стоял у самого леса и который в мороз поднимать нельзя: известь не схватится.

Дарен спал в конюшне, и я чувствовала его дыхание через две стены, и от этого было не легче, а хуже: я лежала и слушала, как кто-то другой спит спокойно, в то время как я считаю.

Утром я вышла на крыльцо злая.

— Не спится, — сказал Дарен. Он уже был во дворе, колол дрова.

— Не спится.

— Из-за маяков?

— Из-за всего.

Он воткнул топор в колоду.

— Корда, — сказал он. — Я вам скажу, что вижу, а вы решите. Вы третий месяц работаете так, будто вас сейчас отнимут.

— Меня и отнимут, — сказала я. — Через четыре недели слушание. Если не будет пяти тысяч, тракта нет.

— И вы думаете, что если будете спать по четыре часа, дохода станет больше?

— Я думаю, что если я буду спать, я не успею.

— Тогда считайте со мной, — сказал Дарен. — Я одиннадцать лет считаю. Дайте мне вашу тетрадь.

Я отдала.

Мы сели за стол в доме, и он считал три часа, а я смотрела, как он считает, и это было странно: у него был не мой способ. Я считала по маякам и по месяцам, а он — по людям: сколько возов, кто хозяин, куда едет, что везёт, где ночует.

— Вот, — сказал он и повернул лист. — У вас семьдесят два воза в месяц идут по тракту. Из них сорок один — это соль и рыба, они идут в Створ. И у вас на всём тракте одна станция — ваша. Возам негде ночевать, кроме как у вас, а у вас на конюшне восемь лошадей.

— Двенадцать.

— Двенадцать, — сказал он. — Значит, они едут дальше и ночуют в Створе, а Створ берёт за постой. Если поставить вторую станцию на двадцать девятом маяке и брать за постой по грошу с лошади, это ещё сто двадцать в месяц.

Я смотрела на его числа.

— У меня нет денег на вторую станцию.

— У вас есть старый сруб на двадцать девятом, — сказал Дарен. — Я его видел. Он стоит без крыши, но стены целые. Крыша — это сто гривен и две недели.

Я подняла голову.

— Вы были на двадцать девятом?

— Я прошёл весь ваш тракт, — сказал он. — В первый же день, пока вы поднимали девятый. Пока вы работали, я хотел знать, что у вас за дорога.

Я сидела и смотрела на него, и через связь чувствовала,

что он говорит правду и ещё что-то, чего я не хотела называть.

— Дарен.

— М.

— Спасибо.

Он отвернулся.

— Не надо, — сказал он. — Я это не для вас делал.

— А для чего?

— Для дороги, — сказал он. — Дорога одна, тракт один, перекрёстки общие. Если у вас сел тридцать девятый, у меня весной сядут Соляные ворота. Это не доброта, Корда. Это арифметика.

— Хорошо, — сказала я. — Тогда по арифметике: вы крышу на двадцать девятом переберёте, а я поставлю будку и постой.

— Идёт.

Крышу он перебирал сам, в мороз, один, потому что я была на сорок первом. Я узнала об этом не от него: я почувствовала.

Я стояла у сорок первого маяка с известью в ведре и вдруг ощутила, как у меня саднит ладони — обе, будто я держу что-то шершавое. Потом заныла поясница. Потом я почувствовала холод в правом ухе.

Я бросила ведро и пошла.

До двадцать девятого было шесть вёрст, и я шла их час с небольшим, и по дороге злилась так, что дышала паром.

Он сидел на крыше сруба, на стропилах, в одной рубахе, и приколачивал дранку.

— Слезайте, — сказала я.

— Я не успею до темноты.

— Слезайте, — повторила я. — Немедленно.

Он посмотрел вниз, увидел моё лицо и слез.

— Что?

— У вас ладони в занозах, — сказала я. — У меня тоже. Потому что я вас чувствую, а вы про это забываете.

Дарен посмотрел на свои руки, потом на мои.

— Я забыл, — сказал он.

— Я знаю, что вы забыли.

— Я не привык, — сказал он. — Одиннадцать лет никого.

Я стояла перед ним, и мне хотелось его ударить, и это было настолько сильнее всего, что я чувствовала за три месяца, что я испугалась.

— Наденьте рукавицы, — сказала я. — Пожалуйста.

И ушла, не дожидаясь ответа.

Вечером он пришёл на станцию с перевязанными руками и сел напротив меня.

— Корда.

— М.

— Я надел рукавицы, — сказал он. — Через час. Попросил у Дины.

— Хорошо.

— И я хотел вам сказать, — он помолчал, — что когда вы

пришли и сказали «слезайте», я испугался.

— Чего?

— Не за себя, — сказал Дарен. — Я испугался, что вы это сказали не из-за связи.

Я подняла на него глаза.

— А из-за чего?

— Не знаю, — сказал он. — И это первый раз, когда я чего-то не знаю и хочу знать.

Глава 6. Дом у седьмого камня

Дина оказалась не гостьей, а работником, и это выяснилось на второй неделе.

Я пришла из конюшни и увидела, что она сидит за столом и чертит. На большом листе, который она выпросила у Леи, был весь наш тракт: линия, сорок один кружок, река, гать, поворот с будкой.

— Что это?

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.